

18+

Кирилл Полосухин

АУШВИЦКИЕ РАССКАЗЫ

Кирилл Полосухин

Аушвицкие рассказы

«Издательские решения»

Полосухин К.

Аушвицкие рассказы / К. Полосухин — «Издательские решения»,

Сборник рассказов о трагедии Освенцима, повествующий о бесчеловечности войны и силе духа выживших. Через истории узников раскрывается ужас лагерной системы и цена человеческой жизни в годы Холокоста.

Содержание

Вступление	6
Новоселье	8
Треугольники	10
Бандиты доверяют бандитам	12
Первый труд	14
Блок номер десять	15
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Аушвицкие рассказы

Кирилл Полосухин

© Кирилл Полосухин, 2026

ISBN 978-5-0071-2503-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Вступление

На юге Польши, чуть западнее Кракова, тихо течет река Сола — неширокая, порой капризная, будто хранящая в своих водах отголоски давних времён. Её имя родилось из памяти о соляных источниках, когда-то щедро бивших на берегах. Теперь от них почти ничего не осталось — лишь название напоминало о былой особенности этих мест.

Долина реки не манила красотой: ровная, будто разглаженная рукой великана, она была усеяна мелкими озёрами и болотами, которые словно тянули к себе сырость и туман. Весной, когда снег сдавался под натиском первых тёплых дней, Сола выходила из берегов, заливая низины и заставляя воду стоять неделями. Летом, в дни затяжных дождей, всё повторялось: река становилась шире, бурливее, и казалось, что она хочет смыть с земли саму память о человеческом присутствии. Неудивительно, что люди не спешили строить здесь дома. Местность оставалась тихой, почти безмолвной, будто сама природа оберегала её от суеты.

В конце своего пути Сола вливалась в великую Вислу — могучую, степенную, веками видевшую столько судеб. И именно там, у этого слияния, примостился небольшой город — Освенцим. Название его звучало почти благоговейно: «освящённое место». Но никто не знал, что когда-то здесь освящали, кто шептал молитвы на этих берегах и зачем. Слово жило своей жизнью, храня загадку, которую лингвисты разгадали, а история так и не объяснила.

Жизнь в Освенциме текла неторопливо. Это был город ремесленников — здесь стучали молотки кузнецов, пахло свежей выпечкой, на узких улочках звенели голоса детей. На окраинах постепенно вырастали заводы, добавляя к привычному ритму города новый, металлический отзвук. В одном из районов обосновалась еврейская община — её дома стояли чуть особняком, но в общем городском узоре были важной, неотъемлемой частью. Город жил, менялся понемногу, но оставался тихим, не стремившимся к славе.

А потом пришла осень 1939 года — холодная, злая, перекроившая судьбы миллионов. Немецкие войска вошли в Польшу, и привычный мир рухнул, будто карточный домик под порывом ветра. Освенцим немцы стали называть Аушвиц — новое имя легло на город, как тяжёлый камень. На окраине города стояли старые казармы, когда-то служившие польской армии. Теперь их готовили к совсем другой роли.

По улицам ходили солдаты, и их шаги звучали как приговор. Они собирали людей — евреев, активистов, тех, кто казался хоть немного опасным для новой власти. Их гнали к казармам, заставляли перестраивать старые стены и возводить новые ограждения. Работа была тяжёлой, бессмысленной, жестокой — и каждый удар кирки, каждый скрип досок отзывался в сердцах обречённых тихим ужасом.

Со временем рядом с городом вырос ещё один лагерь — Аушвиц-2, а вместе с ним раскинулась сеть филиалов, словно щупальца, опутывающие округу. Тихий городок, где когда-то пекли хлеб и ковали подковы, стал сердцем чудовищной системы. «Освящённое место» превратилось в ад — в место, где страх стал воздухом, а боль — привычной мелодией дней.

Те, кто прошёл через эти ворота и чудом выжил, потом годами учились снова дышать, снова видеть небо, снова верить, что мир может быть добрым. Но даже спустя годы они не хотели говорить о том, что видели. Слишком тяжело было вытаскивать из памяти эти картины, слишком горько было слышать собственные воспоминания.

Прошло много лет. Время сгладило острые углы, затянуло раны, но не стёрло память. И теперь, глядя на спокойную Солу, на тихие берега и на город, который снова живёт обычной жизнью, важно помнить: зло не приходит издалека — оно рождается там, где люди перестают слышать друг друга. Эта история — не просто рассказ о прошлом. Это напоминание, тихий голос тех, кто уже не может говорить сам: не дайте страху стать нормой, не позволяйте

жестокости стать привычкой. Память — это не бремя, а щит. И пока мы помним, прошлое не повторится.

Новоселье

Поезд медленно полз к платформе, будто сам не хотел завершать этот путь. Раннее утро ранней осени цеплялось за землю стылым воздухом — по ночам уже пробирал холод, а днём солнце лишь притворялось тёплым. На перроне толпились надзиратели. Они ёжились, кутались в шинели, но не спешили менять летнюю форму на межсезонную: руководство лагеря ещё не отдало такой приказ. Для них холод был просто неудобством. Для тех, кто ехал в вагонах, он скоро станет частью наказания. Когда поезд замер, лязгнули двери, и надзиратели, будто сбросив оцепенение, бросились к вагонам. Резкие крики разорвали тишину: — Быстро выходите! Строиться на перроне!

Из одних вагонов вываливались мужчины — сторбленные, с потухшими глазами, в лохмотьях. Из других выходили женщины, прижимавшие к себе узлы, детей, друг друга. Их везли порознь, и в этом разделении была какая-то механическая, почти равнодушная жестокость. Возможно, это и правда было последнее подобие порядка, отдалённо похожего на человечность. Дальше не оставалось места ни для жалости, ни для деликатности. Узники выходили и выстраивались на перроне, как тени, едва держась на ногах после долгой дороги. Надзиратели ходили вдоль рядов, размахивая палками, и каждый взмах сопровождался криком: — Быстрее! Чего встали?!

Казалось, они злились на самих узников за то, что те вообще здесь оказались, словно люди сами выбрали этот путь, сами захотели оказаться в этом месте, в этот час, под этими взглядами. Усталость была такой тяжёлой, что даже мысль о побеге казалась нелепой. Сил не хватало на то, чтобы стоять прямо, не то что бежать. Надзиратели это знали и потому не боялись — они просто следили, чтобы никто не упал, не задержал процесс. Вдоль шеренги ходили несколько человек в форме, делая короткие пометки в блокнотах. Они перестраивали ряды, отделяя одних от других. Стариков, тех, кто едва держался на ногах, и явно больных отправляли в одну сторону. Более крепких, способных работать, — в другую. Всё решалось за секунды, по одному взгляду, по тому, как человек держался, как смотрел, как дышал. Потом всех повели в лагерь. Дорога заняла минут пятнадцать — не так уж много, но каждый шаг давался с трудом. Надзиратели не умолкали: — Быстрее! Не отставать!

Палки снова мелькали в воздухе, напоминая, что любое промедление — это повод для удара. Шеренга остановилась перед бараком. Здесь прозвучала новая команда: — Раздеться! Одежду бросить вперёд!

Женщины замерли, прижавшись друг к другу, будто могли спрятаться в этом скученном тепле. Но надзиратели не собирались давать им время на стыд. Дубинки снова пошли в ход: — Чего ждёте?! Раздевайтесь! Быстрее!

Кто-то начал снимать одежду дрожащими руками, кто-то застыл, не в силах пошевелиться. Надзиратели смеялись, отпускали грубые шутки, и этот смех был страшнее криков. Он делал происходящее ещё более унижительным, превращал человеческое достоинство в пыль. Когда все стояли голые, появился врач. Он ходил вдоль рядов быстрыми, деловитыми шагами, бегло осматривал людей, словно проверял товар. Его взгляд скользил по телам, отмечая пригодность или непригодность. Решение принималось мгновенно: один кивок — и человека отправляли в ту или иную сторону. После осмотра началась борьба с вшами. К каждой женщине подходили, грубо хватая за волосы, вытягивали пряди и состригали их ножницами. Состриженные волосы падали под ноги, смешиваясь с грязью и пылью. Никто не думал о том, чтобы быть аккуратным. Ножницы царапали кожу, оставляли мелкие порезы, уколы. Если кто-то вздрагивал от боли, тут же следовал удар дубинкой: — Стой спокойно!

На каждую узницу отводилось не больше двух минут. Волосы состригали не только на голове, но и по всему телу. Процедура была быстрой, грубой и беспощадной. Когда стрижка

закончилась, врач снова прошёл вдоль шеренги, теперь уже особенно тщательно осматривая те места, которые раньше были скрыты волосами. Он искал следы болезней, вшей, любых признаков слабости. Не обнаружив ничего, что требовало бы немедленного внимания, он кивнул главному надзирателю. Тот рявкнул: — Заходите в здание!

Внутри их завели в тесное помещение, где с потолка хлынула ледяная вода. Она била по коже, пронзая тело тысячами острых иголок. Не было ни мыла, ни мочалок, ни даже намёка на тепло. Грязь приходилось смывать руками, растирая кожу до красноты. Некоторые пытались тереть себя сильнее, надеясь хоть немного согреться, но надзиратели только смеялись: — Вот как хорошо натирает и без мочалки!

Когда вода перестала литься, женщин вывели в предбанник. Там им выдали комплекты одежды — грубые, одинаковые, без учёта размеров. Кто-то получил штаны, которые сползали, кто-то — рубаху, в которой тонул. Полотенцев не было. Одежду приходилось надевать на мокрое тело. Она липла к коже, была холодной и неприятной, но это всё же было лучше, чем стоять голыми. Одетые, но всё ещё дрожащие от холода, женщины снова вышли на улицу. Их построили и повели к новому месту жительства — в барак. Дверь захлопнулась с глухим стуком, отрезая их от всего, что было раньше. Старший надзиратель, задержавшись на пороге, бросил напоследок: — Не слишком празднуйте новоселье!

И дверь закрылась.

Треугольники

Барак встретил полумраком и тяжёлым, спёртым воздухом. Первое, что бросалось в глаза, — многоярусные нары, громоздкие и угловатые, будто собранные из грубых, плохо подогнанных досок. Над ними тянулась крыша, местами прогнившая: сквозь щели пробивались косые лучи солнца, а в ненастье через те же прорехи внутрь стекала дождевая вода, оставляя на полу тёмные, медленно сохнущие пятна.

На отдельных нарах лежали рваные мешки, набитые прелой соломой. Они выглядели жалкой подстилкой, но именно это и считалось здесь привилегией. Право на такой мешок получали лишь те, кто каким-то образом сумел заслужить расположение лагерной администрации. Приглядевшись, можно было без труда определить, какие места считались лучшими: там, где крыша почти не протекала, где воздух был чуть менее густым от человеческого дыхания, где даже в холода держалось слабое, обманчивое тепло.

Хотя время близилось к обеду, в бараке многие отдыхали. Вероятно, их смена начиналась позже, и эти часы были единственной возможностью сберечь силы. На непривилегированных нарах люди лежали так плотно, что казалось — на одном месте умещается сразу трое или четверо, прижавшись друг к другу, чтобы не упасть. Кое-где люди занимали даже пол. Поначалу это пугало: в первые мгновения казалось, что на полу просто оставили тех, кто уже не дышал. Но, подойдя ближе, можно было различить слабое, неровное дыхание — они были живы, просто для них не нашлось другого места.

В дальнем углу стояли несколько вёдер. Никаких перегородок, никакой попытки скрыть происходящее. Любой, кому требовалось воспользоваться ими, делал это на виду у всех. В этом заключалась особая, методичная жестокость: человека лишали не только свободы, но и самого простого чувства уединённости, напоминая каждым мгновением, что он больше не личность, а безликая единица, лишённая права на достоинство.

Новым узникам достались места на полу, недалеко от вёдер. Это было самое невыгодное и самое унижительное положение. Впрочем, задержаться здесь надолго им не дали. Вскоре в барак вошли надзиратели. Их шаги звучали размеренно и тяжело, взгляд скользил по каждому, оценивая, проверяя, выискивая несоответствия. Они внимательно осматривали форму, обращая внимание на каждую деталь. Тех, у кого не было нашивки, резко, без лишних слов, приказывали выйти. Чтобы не пропустить никого, будили даже тех, кто пытался укрыться сном от реальности.

Людей без нашивок вывели из барака, построили в колонну и повели к административному зданию. Там всё происходило быстро и механически. В небольшом помещении сидел человек с журналом. Каждый заходил по одному. В журнал вносились данные: фамилия, имя. Сразу после этого человеку присваивали порядковый номер — и тут же, не выходя из комнаты, этот номер набивали татуировкой на предплечье. Параллельно к одежде пришивали специальную нашивку — так называемый «винкель».

Нашивки делили людей на группы, и у каждой группы был свой цвет. Существовали и особые отметки: например, тем, кто пытался бежать, нашивали знак в виде мишени — чтобы в следующий раз не промахнуться. Но самыми страшными считались нашивки евреев: жёлтый треугольник, поверх которого накладывался ещё один, обозначавший принадлежность к определённой категории. Вместе они складывались в звезду Давида. К этим людям относились с особой жестокостью, будто сама нашивка давала право на безграничную безжалостность.

Оспорить цвет нашивки или номер было невозможно. Из-за этих меток люди почти не менялись одеждой, даже если она была слишком велика или мала: любая попытка скрыть свою категорию могла обернуться наказанием. И всё же эти метки, какими бы унижительными они ни были, означали отсрочку. Наличие нашивки и номера давало узнику шанс прожить ещё

немного — пока он способен работать. Остаться в лагере без этих опознавательных знаков было смертельно опасно: таких людей быстро отправляя туда, откуда не возвращаются.

Бандиты доверяют бандитам

Лагерь с первых дней своего существования представлял собой не просто место заключения — он функционировал как отлаженный механизм, где каждая деталь имела своё предназначение. Подобно сложному механизму, одни его элементы работали исправно и плавно, тогда как другие скрипели и трещали под непосильной нагрузкой.

Управление таким огромным количеством заключённых силами одних лишь надзирателей и охраны оказалось делом сложным и неэффективным. Численность узников постоянно росла, а количество надзирателей оставалось прежним. В этих условиях администрация лагеря нашла простое, но крайне жестокое решение — использовать самих заключённых для контроля над остальными.

Эта система была построена на чётком понимании человеческой природы. Руководство лагеря знало: управлять проще всего теми, кто привык к власти и насилию. Именно поэтому особое внимание уделялось заключённым с зелёными треугольниками на робах — уголовникам, ворам, бандитам. Эти люди говорили на понятном администрации языке силы и подчинения.

В их глазах не было места сантиментам или жалости. Они воспринимали лагерь как естественную среду обитания, где выживает сильнейший. Для них не существовало моральных дилемм — только чёткое понимание иерархии и правил игры, где победитель получает привилегии, а проигравший — смерть.

Так родилась система капо — надсмотрщиков из числа самих заключённых. Они стали связующим звеном между администрацией и массой узников, превратив лагерь в многоуровневую структуру подавления, где насилие шло как сверху вниз, так и снизу вверх.

Бандиты доверяли бандитам — этот негласный принцип стал основой функционирования лагерной системы. И пока эта система работала, лагерь продолжал методично выполнять свою страшную задачу, превращая людей в покорных рабов системы.

Первое, что замечал новый узник, — не все заключённые одинаково жалки. Среди серой массы выделялись люди, которые двигались иначе: не сгорбившись, не боязливо оглядываясь, а уверенно, даже нагло, словно собственная полосатая роба была не униформой узника, а формой власти. Они не жались к стенам, не прятали взгляда. Наоборот — их глаза цепко ошупывали каждого, кто оказывался рядом, оценивая, как мясник оценивает тушу на крюке: что можно взять, что использовать, от чего избавиться.

Капо получали привилегии, которые в лагерной иерархии казались сказочным богатством. Двойной паёк — не как награда за тяжёлую работу, а как плата за готовность держать других в повиновении. Лучшее место на нарах — там, где крыша не протекала, где воздух был чуть менее густым от дыхания сотен людей. Иногда — отдельный угол в бараке, отделённый от общего пространства не стеной, нет, стен здесь не признавали, но невидимой границей, которую не смел переступить ни один обычный узник. Эта граница держалась не на досках, а на страхе — самом прочном строительном материале, известном человеку.

Но главное — капо получали власть. И власть эта была страшнее любой дубинки надзирателя, потому что надзиратель — чужой, враг, его жестокость хотя бы понятна, она имеет направление, у неё есть «свой» и «чужие». А капо был свой. Он носил ту же робу, спал в том же бараке, ходил в тех же деревянных башмаках по той же утоптанной земле. И потому каждый его удар ощущался не просто как насилие — как предательство. Бывший товарищ по несчастью превращался в тюремщика, и от этого мир раскалывался пополам.

Система работала безупречно. Надзирателям не нужно было входить в барак, чтобы поддерживать порядок, — капо делали это сами. Они следили, чтобы узники выходили на переключку вовремя, чтобы барак был чистым — насколько слово «чистый» вообще имело смысл

в этом месте, — чтобы работа выполнялась без задержек. И если кто-то падал от усталости, капо поднимал его не рукой, а ударом. Если кто-то пытался спрятать лишний кусок хлеба, капо находил его и забирал — не для надзирателей, а для себя. Если кто-то осмеливался возразить, капо наказывал так, что надзирателям уже не нужно было вмешиваться. Машина работала сама, и заложенные в неё шестерёнки вращались ровно и без скрипа.

Но у этой системы была своя, скрытая от посторонних глаз сторона. Капо, при всей их видимой силе, тоже были узниками. Их привилегии зависели от настроения надзирателей, от того, угодили ли они в эту неделю или в этот день. Один неверный шаг, одно проявление мягкости — и капо мог оказаться там же, где и те, кем он управлял. Надзиратели это знали и умели держать своих ставленников в постоянном напряжении: сегодня улыбались, а завтра могли забрать пайку, снять с должности, отправить на самую тяжёлую работу. Так капо жил на острие — с одной стороны власть, с другой пропасть. И потому он бил не от жестокости, а от страха. Чем больше он боялся, тем сильнее бил. Чем больше неуверенности таилось в его положении, тем жесточе была его власть над теми, кто был ещё слабее.

Иногда в бараке происходило то, что трудно было описать словами, но все это чувствовали: капо менялся. Не сразу, не вдруг — медленно, как меняется цвет неба перед бурей. Что-то в его взгляде становилось другим, и узники, научившиеся читать лагерные лица, знали: это значит, что надзиратель вызывал его к себе. Что именно произошло в том кабинете, никто не знал, но вернувшийся капо был всегда чуть бледнее, чуть сдержаннее, а удары его в последующие дни становились тяжелее и точнее. Будто он пытался передать кому-то другому то, что досталось ему, — по цепочке, вниз, от сильного к слабому, от верха к низу.

Каждое утро всё началось снова: перекличка, работа, баланда, удары. Капо ходили вдоль строя с палкой, проверяя, все ли на месте, все ли стоят ровно. Их движения были привычными, отработанными, почти автоматическими. Они не смотрели в глаза — им это было не нужно. Они считали спины, как пастух считает овец, и им было всё равно, кто за каким номером стоит.

Получалось, что самое страшное в лагере — не газовая камера и не крематорий. Самое страшное — это когда человек, который вчера был таким же, как ты, сегодня поднимает на тебя руку. И не потому, что стал другим, а потому, что система нашла в нём ту единственную струну, которую можно натянуть и заставить звучать в свою пользу. Зелёный треугольник на груди капо был не просто меткой — он был договором, подписанным между двумя видами зла: большим, которое строило лагерь, и малым, которое соглашалось в нём работать. И пока этот договор действовал, барак жил по закону, который не был записан ни в одном уставе, но знал каждый: бандиты доверяют бандитам, а все остальные доверяют только тишине.

И барак молчал.

Первый труд

Узники, наконец, получили нашивки и порядковые номера — с этого момента их статус был официально закреплён. Теперь они знали: ближайшие недели им не грозит газовая камера, зато впереди — тяжёлая, изматывающая работа.

После регистрации колонна двинулась к бараку. Люди шли молча, плечом к плечу, не пытаясь ни о чём думать — ни о судьбе, ни о будущем, ни даже о том, что ждёт их в ближайшие часы. Мысли казались слишком тяжёлыми, чтобы их удерживать. Дождаться пришлось недолго.

Когда колонна остановилась возле барака, надзиратель громко объявил, что заходить внутрь пока не нужно: сперва предстоит поработать над «улучшением быта». Вокруг стояли похожие друг на друга длинные вытянутые здания, вход в каждое был с торца. Бараки располагались близко — между стенами оставалось всего около пятидесяти метров, и от этого пространство казалось ещё более тесным, почти давящим.

Позади бараков, метрах в ста—ста пятидесяти, находились примитивные туалеты — ямы, накрытые досками с прорезями. Чтобы туда попасть, нужно было обойти барак целиком и преодолеть эти сто—сто пятьдесят метров. Сил на такой путь у многих почти не оставалось, а вернувшись, человек всё равно не мог рассчитывать на хоть какое-то уединение: он был на виду у всех.

Внутри бараков стояли вёдра, которые тоже служили нуждой, но их требовалось регулярно выносить. Только вот выносить было некому: у людей не оставалось сил даже на то, чтобы держаться на ногах.

Надзиратель коротко объяснил: нужно вырыть ещё несколько ям — число узников росло, и прежних отхожих мест уже не хватало. Узников подвели к участку и указали места, где следовало копать. Прежде чем начать рыть новые ямы, требовалось разобрать часть настила над уже заполненными. Получалось, что, выкапывая новые ямы, одновременно нужно было закапывать старые.

Когда доски убрали, стало видно, что ямы, которые собирались засыпать, на деле были почти пустыми. Никто не решился сказать об этом вслух. Все слишком хорошо знали: любое слово, похожее на возражение, могло обернуться ударами дубинок.

Несколько часов люди копали и засыпали, двигались от одной точки к другой, не поднимая глаз. Они не стали рыть больше, чем требовалось: лишние десять ям означали бы побои. В итоге закопали пять ям сверх плана, заново соорудили настилы над старыми местами, а над новыми сколотили новые деревянные покрытия из выданных досок. Когда работа была закончена, узников наконец пустили в барак.

Но едва они успели переступить порог, как снаружи снова раздался резкий окрик — команда строиться. К этому моменту всех новеньких уже распределили на работы в ночную смену. До выхода на эти работы оставалось меньше часа.

Блок номер десять

Холодный ветер гулял по перрону, срывая с людей последние крохи надежды. Эшелон замер, лязгнули двери, и из вагонов потекли измученные фигуры — люди, уже наполовину превратившиеся в тени. Они едва держались на ногах, но даже в этом полуобморочном состоянии кто-то ещё пытался найти глазами близкого, ухватиться за него, как за последнюю опору.

На возвышении, чуть в стороне от потока, стоял лагерный доктор. Лицо его было спокойным, почти отрешённым, будто он наблюдал не за судьбами сотен людей, а за движением облаков. В его взгляде не было ни жалости, ни гнева — только холодный расчёт. Он внимательно скользил глазами по шеренгам, выискивая одно и то же: пары, похожие друг на друга до неузнаваемости. Близнецов. Или хотя бы родных братьев, чьи черты повторялись, словно в зеркале.

Надзиратели давно выучили эту привычку доктора. Они знали: стоит ему заметить двух похожих людей — и для них начнётся совсем другая история. Поэтому надзиратели работали на опережение. Едва завидев в толпе двух мужчин с одинаковыми скулами или двух юношей с похожей посадкой глаз, они тут же выдёргивали их из общего потока и ставили в отдельную шеренгу. Эта шеренга становилась чем-то вроде метки: «особые», «нужные».

Сначала всё шло так же, как и для остальных. Их вели к специальному боксу, где стригли наголо, заставляя чувствовать себя ещё более беззащитными. Потом — холодный душ, от которого сводило мышцы и перехватывало дыхание. Затем им выдавали лагерную одежду. И тут начинались первые насмешки судьбы: одному близнецу роба оказывалась слишком велика, рукава свисали, словно крылья сломанной птицы, а другому — слишком тесна, ткань врезалась в плечи, стягивала грудь. Это несоответствие казалось мелочью, но в нём было что-то злое: будто сама система хотела подчеркнуть, что даже в одинаковости они не равны.

После душа их вели в отдельный барак. Он стоял чуть в стороне от остальных. Войти туда было просто — достаточно сделать шаг. А вот выйти можно было только с разрешения надзирателя. И чаще всего такого разрешения не давали.

С этого момента они переставали быть просто узниками. Теперь они были «материалом». Рабочим материалом для экспериментов, для таблиц и графиков, для сухих отчётов, которые потом отправляли куда-то далеко, туда, где люди в строгих костюмах обсуждали эффективность методов.

В бараке доктор работал методично, без суеты. Он осматривал каждого близнеца по отдельности, записывал все параметры: рост, вес, температуру, пульс, состояние кожи, цвет глаз. Потом он сравнивал эти показатели, искал малейшие различия, которые могли стать ключом к чему-то важному — по крайней мере, так он себе говорил. А затем наступал самый страшный момент: решение.

Один из близнецов становился «подопытным». На него обрушивались испытания, перед которыми меркли даже ужасы лагеря. Иногда это было насильственное заражение какой-нибудь болезнью — чтобы посмотреть, как она будет развиваться. Иногда — введение экспериментальных препаратов, которые должны были спасти жизни на фронте, но вместо этого превращали человека в ходячую лабораторию боли. Почти всегда это заканчивалось смертью.

А когда умирал один близнец, судьба второго была предрешена. Его забирали для вскрытия, чтобы сравнить тело здорового человека с телом больного. Это называлось «сравнительным анализом». Для доктора это был научный метод. Для второго брата — приговор.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.